

Генри Фильдинг

**История приключений
Джозефа Эндруса и его друга
Абраама Адамса**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Генри Фильдинг

История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса / Генри Фильдинг – М.: Книга по Требованию, 2011. – 274 с.

ISBN 978-5-4241-1942-2

Крупные пороки достойны нашей ненависти; более мелкие недостатки достойны сожаления; и только притворство кажется автору подлинным источником смешного. В настоящей книге "История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абрама Адамса; написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота" автор вывел пороки самые черные, хотя в его намерения не входило очернить кого-либо или предать поношению. Главный герой, Абрам Адамс - образец совершенной простоты и доброты - священник, но невольно участвует в низменных приключениях. Автор постарался замаскировать личности, окружавшие главного героя, столь разными обстоятельствами, званиями и красками, что трудно будет их разгадать, хотя все они из наблюдений и жизненного опыта.

ISBN 978-5-4241-1942-2

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Генри Филдинг
История приключений
Джозефа Эндруса и его друга
Абраама Адамса
написано в подражание манере
Сервантеса, автора Дон Кихота

Предисловие автора

Так как простой английский читатель, возможно, держится иного понятия о романе, чем автор этих небольших томов ¹, и, значит, напрасно станет ожидать такого развлечения, какого ему не доставят, да и не предназначены доставить последующие страницы, – то, может быть, не лишним будет предпослать им несколько слов о литературе того рода, в котором до сей поры никто еще, насколько я помню, не пытался писать на нашем языке.

Эпос, как и драма, делится на трагедию и комедию. Гомер, отец эпической поэзии, дал нам образцы и того и другого; правда, созданное им комическое произведение безвозвратно потеряно, однако Аристотель сообщает, что оно так же относилось к комедии, как «Илиада» к драме. ² И может быть, отсутствие такого рода комических поэм у античных авторов объясняется именно утратой того первого образца, который, сохранись он в целости, нашел бы своих подражателей наравне с другими поэмами великого создателя прообразов.

Далее, если эпос может быть и трагическим и комическим, то равным образом, позволю я себе сказать, он возможен и в стихах и в прозе: в самом деле, пусть не хватает ему одного из признаков, которыми критики определяют эпическую поэму, а именно метра, все же, когда в произведении содержатся все прочие признаки, как фабула, действие, типы, суждения и слог, и отсутствует один только метр, – правильно будет, думается мне, отнести его к эпосу; тем более что ни один критик не почел нужным зачислить его в какой-либо другой разряд или же дать ему особое наименование.

Так «Телемак» архиепископа Камбрейского ³ представляется мне произведением эпическим, как и «Одиссея» Гомера, в самом деле, гораздо правильной и разумней дать ему такое же название, как тем произведениям, от которых он отличается только по одному признаку, нежели объединять в один разряд с теми, на какие он не походит ничем: а таковы объемистые труды, обычно именуемые романами, – «Клеелия», «Клеопатра», «Астрея», «Кассандра», «Великий Кир» и неисчислимое множество других, в которых, на мой взгляд, содержится очень мало поучительного или занимательного. ⁴

Итак, комический роман есть комедийная эпическая поэма в прозе; от комедии он отличается тем же, чем серьезная эпическая поэма от трагедии: действию его свойственна большая длительность и большой охват; круг событий, описанных в нем, много шире, а действующие лица более разнообразны. От серьезного романа он отличается своею фабулой и действием: там они важны и торжественны, здесь же легки и забавны. Отличается комический роман и действующими лицами, так как выводит особ низших сословий и, следовательно, описывает более низменные нравы, тогда как серьезный роман показывает нам все самое высокое. Наконец, он отличается своими суждениями и слогом, подчеркивая не возвышенное, а смешное. В слог, мне думается, здесь иногда допустим даже бурлеск, чему немало встретится примеров в этой книге ⁵, – при описании битв и в некоторых иных местах, которые не обязательно указывать осведомленному в классике читателю, для развлечения коего главным образом и рассчитаны эти пародии или шуточные подражания.

Но допустив такую манеру кое-где в нашем слог, мы в области суждений и

характеров тщательно ее избегали: потому что здесь это всегда неуместно, – разве что при сочинении бурлеска, каковым этот наш труд отнюдь не является. В самом деле, из всех типов литературного письма нет двух, более друг от друга отличных, чем комический и бурлеск; последний всегда выводит напоказ уродливое и неестественное, и здесь, если разобраться, наслаждение возникает из неожиданной нелепости, как, например, из того, что низшему придан облик высшего, или наоборот; тогда как в первом мы всегда должны строго придерживаться природы, от правдивого подражания которой и будет проистекать все удовольствие, какое мы можем таким образом доставить разумному читателю. Есть причина, почему комическому писателю менее, чем всякому другому, простиительно уклонение от природы: ведь серьезному поэту иной раз не так-то легко встретить великое и достойное; а смешная жизнь предлагает внимательному наблюдателю на каждом шагу.

Я заговорил здесь о бурлеске потому, что мне часто доводилось слышать, как присваивалось это наименование произведениям по сути дела комическим из-за того только, что автор иногда допускал бурлеск в своем слого; а слог, поскольку он является одеждой поэзии, как и одежда людей, в большей мере определяет суждение толпы о характере (тут – всей поэмы, там – человека в целом), чем любое из их величайших достоинств. Но, разумеется, некоторая игривость слога там, где характеры и чувства вполне естественны, еще не есть бурлеск, – как другому произведению пустая напыщенность и торжественность слов при ничтожестве и низменности всего замысла не дает права называться истинно возвышенным.

И мне думается, суждение милорда Шефтсбери о чистом бурлеске сходится с моим, когда он утверждает, что подобного рода писаний у древних мы не находим⁶. Но у меня, пожалуй, нет такого отвращения к бурлеску, какое высказывал он; и не потому, что в области бурлеска я стяжал на сцене некоторый успех, – нет, скорей потому, что ничто другое не дает повода для столь искреннего веселья и смеха; а веселый смех, быть может, самое целебное лекарство для духа и больше способствует изгнанию сплина, меланхолии и прочих болезней, чем это обычно предполагают. Сошлюсь на то, что наблюдалось многими: разве не правда, что одни и те же люди бывают благодушной и доброжелательней в общении после того, как они два-три часа услаждались подобным веселым развлечением, нежели после того, как их дух угнетали трагедией или торжественным чтением?

Но возьмем пример из другой области искусства, и тогда, быть может, это различие выступит перед нами отчетливей: сопоставим творения комического художника-бытописателя с теми произведениями, которые итальянцы называют «*caricatura*»; здесь мы найдем, что истинное превосходство первых состоит в более точном копировании природы; так что взыскательный глаз тотчас отвергнет всякое «*outré*»⁷, малейшую вольность, допущенную художником по отношению к этой «*almae matris*»⁸. Между тем в карикатуре мы допускаем любой произвол; цель ее – выставить напоказ чудовища, а не людей; и всяческие искажения и преувеличения здесь вполне у места.

Итак: то, что есть карикатура в живописи, то бурлеск в словесности; и в том же соотношении стоят комический писатель и комический художник. И здесь я замечу, что если в первом случае у художника есть как будто некоторое преимуще-

щество, то во втором оно на стороне писателя – и притом бесконечно большее: потому что чудовищное много легче изобразить, чем описать; смешное же легче описать, чем изобразить.

И хотя, быть может, комическое – будь то живопись или словесность – не действует так сильно на мускулы лица, как бурлеск или карикатура, все же, я думаю, надо признать, что оно доставляет удовольствие более разумное и полезное. Тот, кто назовет остроумного Хогарта мастером бурлеска в живописи, тот, по-моему, не отдаст ему должного; ибо, конечно же, куда легче, куда менее достойно удивления, изображая человека, придать ему несообразных размеров нос или другую черту лица либо выставить его в какой-нибудь нелепой или уродливой позе, нежели выразить на полотне человеческие наклонности. Почтается большой похвалой, если о живописце говорят, что образы его «как будто дышат»; но, конечно, более высокой и благородной оценкой будет утверждение, что они «словно бы думают»⁹.

Но вернемся назад. В область настоящего моего труда, как я уже сказал, входит только Смешное. И читатель не сочтет здесь неуместным некоторое пояснение к этому слову, если вспомнит, как превратно понимают его даже те авторы, которые избрали Смешное своим предметом: ибо чему же, как не такому непониманию, должны мы приписать многочисленные попытки высмеивания чернейшей подлости и, что еще того хуже, самых страшных несчастий? Кто может превзойти в нелепости автора, который напишет «Комедию о Нероне с веселой сценкой, где он вспарывает живот своей матери»? Или что могло бы сильнее оскорбить человеческое чувство, чем попытка выставить на посмеяние невзгоды нищих и страдающих? А между тем читатель, даже не обладая большой ученостью, без труда вспомнит ряд подобных примеров.

Может показаться примечательным, что Аристотель, так любивший определения и столь щедрый на них, не почел нужным определить Смешное. Правда, говоря, что оно свойственно комедии, он указал между прочим, что подлость не является предметом Смешного¹⁰; но, насколько я помню, он не утверждает положительно, что же таковым является. Также и аббат Бельгард, написавший трактат по этому вопросу и показывающий в нем много разных видов Смешного, ни разу не проследил ни одного из них до истока.¹¹

Единственный источник истинно Смешного есть (как мне кажется) притворство. Но хотя Смешное и возникает из одного родника, мы, когда подумаем о бесчисленных ручьях, на которые разветвляется его поток, перестаем удивляться тому, сколько можно почерпнуть из него наблюдений. Далее, притворство происходит от следующих двух причин: тщеславия и лицемерия; ибо как тщеславие побуждает нас надевать на себя личину с целью снискать похвалу, так лицемерие заставляет нас избегать осуждения, скрывая наши пороки под видимостью противоположных им добродетелей. И хотя эти две причины часто смешивают (потому что различать их затруднительно), однако же и вызываются они совершенно разными побуждениями и в проявлениях своих явственно различны: ибо в самом деле притворство, возникающее из тщеславия, ближе к правде, чем притворство другого вида; ему не приходится бороться с тем сильным противодействием природы, с каким борется притворство лицемера. Нужно к тому же отметить, что притворство не означает полного отсутствия изображаемых им качеств: правда, когда оно порождается лицемерием, оно тесно связано

с обманом; однако же там, где его источник – тщеславие, оно становится сродни скорее чванству: так, например, притворная щедрость тщеславного человека явственно отличима от притворной щедрости скупца; пусть тщеславный человек не то, чем он представляется, пусть не обладает добродетелью, в какую он рядится, чтобы думали, будто она ему свойственна; однако же наряд сидит на нем не так неловко, как на скупце, который являет собою прямо обратное тому, чем он хочет казаться.

Из распознавания притворства и возникает Смешное, – что всегда поражает читателя неожиданностью и доставляет удовольствие; притом в большей степени тогда, когда притворство порождено было не тщеславием, а лицемерием; ведь если открывается, что человек представляет собой нечто как раз обратное тому, что он собой изображал, это более неожиданно и, значит, более смешно, чем если выясняется, что в нем маловато тех качеств, которыми он хотел бы славиться. Могу отметить, что наш Бен Джонсон, который лучше всех на свете понимал Смешное, изобличает по преимуществу притворство лицемерное.

И только при наличии притворства могут стать предметом смеха житейские невзгоды и несчастья или физические изъяны. Только человеку извращенного ума безобразия, увечье или бедность могут казаться смешными сами по себе; и я не думаю, чтобы хоть у одного человека в мире встреча с грязным оборванцем, едущим в телеге, вызвала желание смеяться; но если вы увидите, как та же фигура выходит из кареты шестерней или соскакивает с портшеза, держа шляпу под мышкой, вы рассмеетесь – и с полным правом. Равным образом, если нам доведется войти в дом бедняка и увидеть несчастную семью, дрожащую от стужи и мучимую голодом, это нас не расположит к смеху (или вы должны отличаться поистине дьявольской жестокостью); но если в том же доме мы обнаружим очаг, украшенный вместо угля цветами, пустые блюда или фарфор на буфете или иное какое-либо притязание на богатство и утонченность – в самих ли людях или в обстановке, – тогда, право, нам извинительно будет посмеяться над таким фантастическим зрелищем. Еще того менее могут быть предметом насмешки физические изъяны; но когда безобразие тщится стяжать славу красоты или когда хромота силится изобразить ловкость, – вот тогда эти несчастные обстоятельства, сперва склонявшие нас к состраданию, начинают вызывать одно лишь веселье.

Поэт проводит эту мысль еще дальше:

Ты тот, что есть, – тебя нельзя винить:

Винювен, кто не тот, кем хочет слыть.¹²

Если б размер стиха позволил заменить слова «винить» и «виновен» словами «высмеивать» и «смешон», мысль, пожалуй, была бы еще правильной. Крупные пороки достойны нашей ненависти; мелкие недостатки достойны сожаления; и только притворство кажется мне подлинным источником Смешного.

Но мне, пожалуй, могут возразить, что я, наперекор своим собственным правилам, изобразил в этом труде пороки – и пороки самые черные. На это я отвечу: во-первых, очень трудно описать длинный ряд человеческих поступков и не коснуться пороков. Во-вторых, те пороки, какие встречаются здесь, являются скорее случайным следствием той или иной человеческой слабости или некоторой шаткости, а не началом, постоянно существующим в душе. В-третьих, они неизменно выставляются не как предмет смеха, а лишь как предмет отвра-

щения. В-четвертых, ими никогда не наделяется главное лицо, действующее в данное время на сцене; и, наконец, здесь никогда порок не преуспевает в свершении задуманного зла.

Указав, таким образом, в чем различие между «Джоозефом Эндрусом» и творениями авторов-романистов, с одной стороны, и авторов бурлеска – с другой, и сделав несколько кратких замечаний (большее не входило в мои намерения) об этом виде словесности, до сих пор, как я отметил, не испытанном на нашем языке, – я предоставлю благосклонному читателю судить мою вещь на основе моих же замечаний и, не задерживая его дольше, скажу еще лишь несколько слов о действующих лицах своего произведения.

Торжественно сим заявляю, что в мои намерения не входило кого-либо очернить или предать поношению: ибо, хотя здесь все списано с Книги Природы и едва ли хоть одно из выведенных лиц или действий не взяты мною из собственных наблюдений и опыта, – все же я всемерно постарался замаскировать личности столь разными обстоятельствами, званиями и красками, что будет невозможно хотя бы с малой степенью вероятия их разгадать; а если и покажется иначе, то лишь там, где изображаемый недостаток так незначителен, что является только слабостью, над которой сам обладатель ее может посмеяться наравне со всеми.

Что касается фигуры Адамса, самой примечательной в этой книге, то подобной, мне думается, не встретишь ни в одной из ныне существующих книг. Она задумана как образец совершенной простоты; и доброта его сердца, расположив к нему всех хороших людей, оправдает меня, надеюсь, в глазах джентльменов духовного звания, к которым, когда они достойны своего священного сана, никто, быть может, не питает большего почтения, чем я. Поэтому, невзирая на низменные приключения, в коих участвует мой герой, они мне простят, что я его сделал священником: никакая другая профессия не доставила бы ему так много случаев проявить свои высокие достоинства.



Книга первая

Глава I

О биографиях вообще и биографии Памелы в частности; и попутно несколько слов о Колли Сиббере и других

Старо, но правильно замечание, что примеры действуют на ум сильнее, чем прописи. И если это справедливо для мерзкого и предосудительного, то тем более для приятного и достохвального. Здесь соревнование возвышает нас и непреодолимо побуждает к подражанию. Поэтому хороший человек есть живой урок для всех своих знакомых, и в узком кругу он неизмеримо более полезен, чем хорошая книга.

Но часто случается, что самые лучшие люди мало известны, и, значит, полезный их пример не может оказать воздействия на многих; и вот тогда на помощь может быть призван писатель, который расскажет их историю и нарисует их привлекательные образы для тех, кому не выпало счастья быть знакомым с оригиналами портретов; таким образом, делая достоянием всего мира эти ценные примеры, он может, пожалуй, оказать человечеству большую услугу, чем то лицо, чью жизнь он взял прообразом для своего повествования.

В таком свете мне представлялись всегда биографы, описавшие деяния великих и достойных особ того и другого пола. Я не стану ссылаться на древних авторов, которых в наши дни читают мало, потому что писали они на забытых и, как думают обычно, трудных языках, – на Плутарха, Непота и других, о ком я слышал в юности; и на нашем родном языке написано немало полезного и поучительного, мудро рассчитанного на то, чтобы сеять в молодежи семена добродетели, и очень легко усваиваемого лицами самых скромных способностей. Такова история Джона Великого, который своими отважными героическими схватками с людьми большого роста и атлетического сложения снискал славное прозвание «Победителя Великанов»; история некоего графа Варвика, нареченного при крещении Гаем; жизнеописания Аргала и Парфении; и прежде всего – история семи достойнейших мужей, поборников христианства¹³. Все эти произведения занимательны и вместе с тем поучительны и не только развлекают читателя, но почти в той же мере облагораживают его.

Но я оставлю их в стороне, как и многое другое, и назову только две книги, которые недавно вышли в свет и дают нам удивительные образцы приятного как среди сильного, так и среди слабого пола. Первая из них, рисующая добродетель в мужчине, написана от первого лица великим человеком, который сам прожил изображенную им жизнь и, как полагают многие, лишь затем, чтобы ее описать. Другой образец нам преподносит историк, который, следуя общепринятому методу, почерпнул свои сведения из подлинных записей и документов. Читатель, я думаю, уже догадался, что я говорю о жизнеописаниях господина Колли Сиббера и госпожи Памелы Эндрус¹⁴. Как тонко первый, упоминая словно бы вскользь, что он избежал назначений на высшие церковные и государственные посты, учит нас презрению к славе земной! Как настоятельно внушает он нам необходимость безоговорочного подчинения высшим! И наконец, как он отменно вооружает нас против самой беспокойной, самой губительной страсти –

против боязни позора! Как убедительно изобличает пустоту и суетность призрака, именуемого Репутацией!

Чему поучают читательниц мемуары миссис Эндрус, так ясно выражено в превосходных пробах пера, или письмах, предпосланных второму и последующим изданиям одного произведения, что повторять это здесь бесполезно. Доподлинная история, ныне предлагаемая мной вниманию читателей, сама служит образцом того, как много добра может породить эта книга, и выявляет великую силу живого примера, уже отмеченную мной: ибо здесь будет показано, что лишь безупречная добродетель сестры, неизменно стоявшая перед духовным взором мистера Джозефа Эндруса, позволила ему сохранить чистоту среди столь великих искушений. И я добавлю только, что целомудрие – качество, несомненно, в равной мере уместное и желательное как в одной половине рода человеческого, так и в другой, – является едва ли не единственной добродетелью, которую великий апологет не присвоил себе, дабы явить пример своим читателям.

Глава II

О мистере Джозефе Эндрусе, о его рождении, происхождении, воспитании и великих дарованиях, и в добавление несколько слов о его предках

Мистер Джозеф Эндрус, герой нашей повести, считался единственным сыном Гаффера и Гаммер Эндрусов¹⁵ и братом знаменитой Памелы, столь прославившейся в наши дни своею добродетелью. Относительно предков его скажу, что мы искали их с превеликим усердием и малым успехом: нам не удалось проследить их далее прадеда его, который, как утверждает один престарелый обитатель здешнего прихода со слов своего отца, был бесподобным мастером игры в дубинки. Были ли у него какие-либо предки ранее, предоставляем судить нашему любознательному читателю, поскольку сами мы не нашли в источниках ничего достоверного. Не преминем, однако же, привести здесь некую эпитафию, которую нам сообщил один наш остроумный друг:

Стой, путник, ибо здесь почил глубоким сном
Тот Эндру-весельчак, что всем нам был знаком.
Лишь в Судный день, когда окрасит небосклон
Заря Последняя, из гроба встанет он.
Веселым быть спеши: когда придет конец,
Печальной будешь ты, чем кельи сей жилец.

Слова на камне почти стерлись от времени. Но едва ли нужно указывать, что «Эндру» здесь написано без «с» в конце и, значит, является именем, а не фамилией. К тому же мой друг высказал предположение, что эпитафия эта относится к основателю секты смеющихся философов, получившей впоследствии наименование «Эндру-затейников»¹⁶.

Итак, отбрасывая обстоятельство, не слишком существенное, хоть оно и упомянуто здесь в соответствии с точными правилами жизнеописания, – я перехожу к предметам более значительным. В самом деле, вполне достоверно, что по количеству предков мой герой не уступал любому человеку на земле; и, может быть, если заглянуть на пять или шесть веков назад, он окажется в родстве с особами, ныне весьма высокими, чьи предки полвека назад пребывали в такой же безвестности. Но допустим, аргументации ради, что у него вовсе не было предков и что он, по современному выражению, «выскочил из навозной кучи»,